

ПРЕДВАРЯ публикацию этого интервью, хотим напомнить нашим старым читателям и рассказать новым о первом появлении Вадима Месяца на страницах "ЛГ", не совсем обычном появлении, потому что оно было инициировано сразу двумя мнениями — совпадшими — о его стихах: известного физика и знаменитого лирика, дилетанта и мэтра поэзии. А дело было так. Профессор А. Фридман, один из самых крупных у нас теоретиков-астрономов, любитель стихов, прочел рукопись молодого автора (еще вчера тоже физика, который, закончив Томский университет, став в 25 лет кандидатом наук, опубликовав свыше 30 работ, ушел с головой в словесность). Стихи Вадима Месяца так восхитили профессора, что, находясь с лекциями в США, он послал их Иосифу Бродскому. И вскоре получил такой отклик: "...Понравилась мне очень необычная поэзия. В январе 93-го года, напечатана с подачи А. Фридмана письмо-отзыв И. Бродского, "Литгазета" поместила подборку стихов В. Месяца и беседу с ним, где он рассказывал о своих литературных привязанностях, круге общения, о разговоре с И. Бродским, о том, что пишет и стихи, и прозу. Теперь у него уже четыре книги — два сборника стихов ("Календарь воспоминаний" и "Выход к морю"), повесть "Ветер с кондитерской фабрики" и сборник рассказов "Когда нам станет весело и светло". В последние три года В. Месяц живет и работает в Нью-Йорке. Он координатор русско-американской культурной программы при Стивенс-колледже (Хобокен).

Беседу с ним ведет поэт Владимир ГАНДЕЛЬСМАН.

— Что ты делаешь в своем колледже?

— Три года назад я познакомился с Эдом Фостером, американским поэтом и издателем, он в Стивенс-колледже преподает. Придумали русско-американскую программу, нашли меценатов — в частных колледжах большинство людей сидит на грантах. В общем, частная инициатива двух человек. Организовывали чтения, выставки, концерты, переводы, публикации, поездки американцев в Россию и русских в Америку. Первое, что сделали, — выставка Эрнста Неизвестного; графика, камерная скульптура — хотя смогли притащить довольно громоздкую модель "Древа жизни"... Мы, конечно, в основном занимались поэтическими чтениями, устроили два больших фестиваля. На последнем было больше ста участников с русской и американской стороны — вдвоем такие вещи не делают, в ближайшее время на подобное не отважусь. Приезжали Аркадий Драгомощенко, Нина Искренко, Д. А. Пригов, Иван Жданов, Аркадий Застырец, Сергей Гандлевский, Тимур Кибиров, Лев Рубинштейн, Владимир Друк, Елена Шварц, Маша Максимова, Илья Кутик, множество русских поэтов из Нью-Йорка, Вячеслав Курицын, Александр Верников, Марк Липовецкий... Александр Генис был... По-моему, делали вечер К.К. Кузьминского... Издали антологию американской поэзии вместе с Аркадием Драгомощенко. Книжка Ивана Жданова вот-вот должна выйти на английском языке в издательстве "Таллиман" у Фостера... Много всего... Это хороший опыт. Иногда грустный. Двое из наших прошлых участников ушли из жизни — Нина Искренко и Сергей Курехин, который давал концерт на нашем первом фестивале в 1994 году.

— Насколько перспективными могут быть, по-твоему, русско-американские поэтические контакты?

— Встречи, знакомства никогда не помешают. Так получилось, что я начал общаться в США с поэтами, которые называют себя авангардистами. В общем, что-то противопоставляющее себя официальной поэзии, а таковая в Америке существует. Поэтому только о контактах американских авангардистов с русскими я и могу говорить. И первое, что можно заметить, — американцам русские поэты гораздо более интересны, чем русским американцы. Мой коллега уже несколько раз признавался, что, по его мнению, русские выступают лучше — как минимум разнообразнее. Курицын говорит: так с нашей стороны обычно все звезды, а у них — Бог знает кто. А он ведь прозе не очень знает... Натаниэль Тарн — уже сейчас историческая фигура авангарда, по одной биографии которого можно писать исследования и слагать поэмы, о Майкле Палмере не забывает сказать ни один из левых американских критиков; language school до сих пор влиятельна, и не без оснований. Русские оказываются интереснее поведенчески, к тому же гораздо изобретательнее в своих начинаниях. Можно научно заявить, что с американской стороны наблюдается жанровая точность и принадлежность к определенному кругу, а у русских этих кругов еще нет, что и позволяет оставаться каждому таким необычным. Но боюсь, что и при смешении в американских рядах никакого баланса бы не наступило. Наши ребята "не умеют себя вести", это бросается в глаза, многим это кажется проявлением свободы и творческого начала... Русский поэт может сознательно преодолеть амбиции пролога, но преодолеть "безаппеляционность оценок" и уверенность взгляда ему не под силу да и не очень-то надо.

— Ты полагаешь, что взаимопонимание между этими поэтами возможно?

— Если бы я не верил совсем, то и не делал бы ничего. Хотя прежний энтузиазм иссякает. Сперва — хотелось все понять, не судить огульно. Теперь все чаще раздражаюсь, особенно при общении с переводчиками. Действительно, многих вещей не объяснить, у обеих поэзий совершенно разные возрасты, другие задачи. Американские поэты, которые приезжали на наши чтения, по-моему, стараются быть честнее. Такой перебор честности адекватности: если что-нибудь говоришь, то гово-



риводятся фрагменты эссе поэтов, их рассуждения о современной поэзии — это должно помочь читателю понять, с чем он имеет дело, а с кем он имеет дело — об этом есть специальная статья — "...Новаторы и аутсайдеры". Антологию составляли люди, которые пишут стихи, а не специалисты. Отсюда все минусы и плюсы. Сначала хотели делать ее двуязычной: оригинал — перевод (действительно, это лучший способ чтения переводной поэзии). Однако из-за проблем с американскими copyright-ами этот замысел пришлось разрушить. Как известно, последняя антология американской поэзии выходила у нас в 1982 году и давно уже стала раритетом. Это было серьезное академическое издание, охватывающее путь американской поэзии от Уитмена до Эшбери. А наш вариант, как я уже говорил, — частный... Книжка, надеюсь, получилась хорошей, и хочу верить, что она будет интересна и специалистам, и просто читателям. Я был бы только рад, если бы и другие поэты издавали свои антологии американцев; пробежаться по нобелевскому спис-

Вадим МЕСЯЦ:

Луна на нью-йоркской кухне

ку слишком просто... Лучше иметь свое мнение.

— Итак, ты стал заниматься переводами. Расскази о своем Дилане Томасе.

— Томас — поэт не американский, а британский, валлийский. Прожил всего тридцать девять лет. Кроме стихов, писал замечательную прозу: рассказы, романы, а еще репортажи, статьи, пьесы — довольно бурная творческая биография, яркая, кишаская, густонаселенная.

Обилие животных, рыб, растений, гор, рек, других явлений природы, литературных и мифологических образов, сплетенных или встроженных в довольно длинные тексты, которые сами становятся реальными объектами мира, — такая хорошая фактура (архитектурность?) в лучших своих вариантах — уже музыка. Интересно то, что сам Дилан Томас относился к слову как к объекту, такому же, как "зверь" или "хлеб"; язык становится ровней всему внешнему и внутреннему — русской поэзии такие вещи знакомы. Разбирая стихи одного из современников, Томас сожалеет, что слова у этого поэта слишком хорошо подобраны, не "сотворены", что в этом слишком много "наследия по литературе" (знал ли он о "тоске" Мандельштама?), он говорит: "Я не прошу вульгарности, хотя скучаю по ней; я прошу скорее о небольшом творческом разрушении, разрушительном творчестве". Отсюда его странные (как минимум непериодические) образы: "дождливый молоток", "пернатый червь", "виноградина дней", "хлеб воды"...

Я люблю такие штуки, несмотря на их нелюбовь, но критики легко нашли бы повод поиздеваться — другое дело, что Томас пишет это с необыкновенной уверенностью и осознанием своей правоты, так что все встает на свои места, становится органично... Антропоморфизм существа, он во всем находил телесность, человеческую материальность (чуть ли не сексуальность). Цитирую: "Каждая идея, интуитивная или интеллектуальная, может быть представлена или переведена в термины человеческого тела, в его мясо, кожу, кровь, сухожилия, вены, железы, органы, клетки и чувства"... Я начал его переводить в Южной Каролине, ничего о нем не зная — не зная о замечательных его русских переводчиках, — я хулиганил, один известный поэт поддерживал меня в этом начинании. Выбор был вроде бы случайным, но потом произошло слишком много совпадений, чтобы я до сих пор считал все это просто случаем. Например, только что закончил перевод книжки "В деревенском сне" — тем же вечером мне в барен какой-то мужик неожиданно прочитал несколько стихотворений Томаса... Потом через несколько дней по телевизору показали передачу об этом поэте, по американскому телевидению такое редко бывает. В общем, все закончилось тем, что уже в Нью-Йорке я натолкнулся на таверну "Белая лошадь", где Дилан Томас проводил свои последние месяцы перед смертью; где он и умер — отсюда его увезли в госпиталь. В общем, с некоторых пор я стал приходить в эту таверну и писать письма Дилану Томасу. Затея в чем-то абсурдная — писать письма мертвецу, но мне это казалось нор-

мальным. Во-первых, хотелось объяснить-ся по поводу самих переводов. Во-вторых, я писал письма чуть ли не личного характера; таковой книжка и будет. Лишь потом я узнал, что Джек Спейсер сделал давным-давно нечто похожее с переводами Лорки (у него были очень радикальные переводы), хотя его письма носили в основном теоретический, а иногда и провокационный характер. Возможно, я что-нибудь использую из этого опыта. Что же касается самих переводов, то скажу, что я и не пытался делать переводы — я писал, по существу, свои стихи, стараясь сохранить как можно больше из оригинала. По-моему, другой путь в этом случае невозможен — так что это "adapter", это то, что Пушкин называл "из Андрея Шенье", здесь — "из Дилана Томаса".

— Взаимодействие с американским авангардом как-то изменило твоё личное отношение к поэзии?

— Только на короткое время. То есть был такой период "без царя в голове", ощущение релятивизма в оценках, недоверие к любой традиции. В моей последней книжке есть стихи, не очень-то похожие на русские. Но, как сказал мне один человек, не пытайся сидеть сразу на двух стульях — это ни рыба, ни мясо. Это уже никакие стихи, гибрид, уже не русские, еще не английские — или наоборот. Я теперь согласен, все эти заморские влияния в русскую словесность — эффектно, но, по существу, экстенсивны. Обыкновенное расширение границ — тут большого ума не нужно.

Мне теперь больше нравится то, что писал в Сибири и на Урале. В Америке мне ничего подобного не написать.

— Почему такое предпочтение именно своему "сибирскому" творчеству? Как тебе Америка?

— "Недвижимость" меня не возбуждает... — шутка Воннегута. А если серьезно... Америка для меня другая опыт, новая жизнь, которая в чем-то лучше, в чем-то хуже предыдущей. Для меня она означает прежде всего самостоятельность, обособленность от других людей. И эта обособленность — мне она больше по душе, чем наше российское братство или панбратство. По крайней мере знаешь, чего от человека можно ожидать. У нас же — либо в любви объясняться, либо прирежет. Ко многим вещам трудно было привыкнуть. Например, в доме перегорает последняя лампочка, магазины уже закрыты, и ты идешь к американцу, которого можно в общепоме назвать другом, он дает пакет с лампочками и говорит: "Пять семьдесят пять. Я эти лампочки в очень дорогом магазине покупал". Я покупаю у него эти лампочки и уже не смущаюсь — для русского такие повадки диковаты, конечно. Но мне-то американцы не мешают иметь повадки, которые имею и хочу иметь. Европа, наверное, в большей степени навязывает людям свои стили поведения. В Германии — немецкий, в Италии — итальянский и т. д. В Америке с этим по-особеннее.

— О свободе в литературном смысле: в какой мере ты свободен, является ли свобода от читателя свободой, возможно и нужно ли контролировать иррациональность, склонную претекать в темноту или попросту — в бред сумасшедшего?

— Подразумевание читателя происходит как раз на иррациональном уровне. Когда сочиняю песни, наверняка подразумеваю. Но это совсем другая история. У меня вообще есть такое ощущение, что существует что-то, что я просто обязан написать. Не сегодня, так завтра — но обязательно должен. То есть эти вещи уже как бы существуют в природе до их воплощения — просто ждут своего часа. Конечно, в этой ситуации думать о читателе невозможно. Но я ведь тоже человек и пишу вроде бы совершенно по-человечески. Вот, например, "Цыганенок". Это же человеческие эмоции. Может, у других нервы как-нибудь по-другому устроены или они привыкли читать другие книжки, если им непонятно. Но не могу же я всем угодить.

Все костыли, встающие под сердцем, уйдут дворами в белом молоке. Тебя притяну согреть и греться к высокой, твердой маминной ноге.

Пока не повернется с боку на бок кот у порога вальс сапогом, побегай на ходулях косякалых, выпрашивая будку со свистком.

И что до них, до первых и последних, горляющих, заламывая кнут, когда тебя в узорчатый перерыв по кровям на дороге соберут.

Мне б чубуком еловым расколотся, схватить буханку умными плетями, но в наших жилах растворилось солнце, а кудри сладко пахнут лошадыми.

Согласись, что можно чувствовать, как под сердцем стоят какие-то костыли, опоры, а потом вдруг берут и уходят — ни с то-

го ни с сего — хоть куда: в туман, в холод, в пар после дождя, и сердце остается совсем в пустоте, не зная, что ему делать, то ли упасть, то ли бессмысленно зависнуть...

А что касается бреда сумасшедшего... Это может быть чем-то очень обаятельным. Это модно... Но я думаю, что нарочно запутывать стихи нечестно, неприлично. В самой жизни и без этого полно темного — как раз хочется понять это, объяснить; как минимум — зафиксировать.

— Ты заговорил о песнях и о том, что это другое... Здесь уже как бы заключен вопрос: они другое — что?

— Мне всегда хотелось написать то, что условно можно назвать народными песнями, — абсолютно простые по своей страсти, сюжету, мелодии наконец... Я о чистоте жанра говорю, чуть ли не о каком-то каноне: будь то кандавальная песня, казачья или полуцыганская — речь идет о стилизации, по существу, хотя надеюсь, что мне несколько раз удалось выскокить за пределы литературы... Все чувствительное обычно нравится — разумеется, это не самый лучший рецепт для творчества...

— Расскажи о своем самом сильном художественном впечатлении или одном из...

— Во сне постоянно вижу удивительные вещи. Именно художественные. Книжки читаю... кино смотрю... музыка всякая... дети... старики... женщины... деревья... мужчины... Правильный порядок слов? Мне еще черепахи очень интересны. Те, которые живут в воде. Я о черепахах совершенно серьезно.

— Набоков был увлечен бабочками, ты не равнодушен к черепахам. Что это — нельзя ли поконкретней? Допустим, Маркс говорил, что для него таким впечатлением явился Кафка: он не подозревал, что об этом можно и так писать.

— Понимаешь, я только к тридцати годам понял, что черепахи (скажем, образ черепахи) преследуют меня всю жизнь. Конечно, образ этот нагружен и мифологически, и символически — самая древняя рептилия; и долголетие, и живучесть... Но меня это существо поразило еще в детстве — мне года четыре было, — я увидел морскую черепаху в аквариуме Севастополя, и меня смогли увести от этого зрелища лишь обманным путем. Навсегда в глазах осталось, как она плавает, шевелит ногами-ластами, разевает рот, шея вся в морщинах. Это одновременно и любовь, и ужас... Так вот ты какая, черепаха заморская... Говорят, что в детстве я ей даже пытался письма писать.

Рассказывать про черепах можно очень долго, все равно толком мне этой любви не объяснить. Мне нравится, к примеру, что у них такой маленький объем мозга. У черепахи в тридцать килограммов мозг весит всего три-четыре грамма, с отрубленной головой некоторые из них могут шевелиться и двигаться десятки дней. Один подопытный экземпляр (экземпляр, какое гадкое слово!), которому удалили мозг, прожил без него шесть месяцев. Без пищи могут обходиться годами. Тем не менее жизнь их полна содержания и красоты. Например, любовь к родному дому. Они же без конца странствуют по всем океанам, а яйца несут только на своей родной песчаной косе; у некоторых беременность длится года три, потом из яиц, оставленных на солнце, вылупляются девочки; из тех, что в тени, — мальчики. И все эти трагедии, когда эти черепахи-букашки потом добираются до воды — они ползут, а их пожирают-пожирают все кому не лень: и птицы, и шакалы...

Я в селенографии не силен, хотя читаю кое-что начинаю, но у меня есть, скажем, видения детства... телевизионные картинки... личный опыт... В Южной Каролине несколько раз на крючок цеплялись черепахи — в основном ластами; когда одна заглотила его, мы с другом в течение часа пытались крючок вытащить, глядя в окровавленные ее глаза... Ничего у нас не получилось, так и отпустили (может, не померла?), а потом, когда возвращались домой, у меня на полном ходу спустило переднее колесо... Все обошлось, но мы оба подумали о бедной Тортиле... Конечно, это не литературные впечатления, но для меня важнее литературных. А что касается книжек, то я уже год перечитываю "Краткую историю времени" О. Холмского взрыва до черных дыр" Стивена Хокинга. Здесь важны не только невероятные факты — сам комплимент человеческому разуму чего стоит. Реально существующие вещи всегда интересней. К тому же такой картины мира никакой фантазер не придумает.

— Перечитай твой рассказ "Начала гармонии".

— Не знаю, почему так, но люди привыкли любоваться беспокойством, внутренней дрожью, нервничанью пальцами и губами, чувствуя в них если не святость, то хотя бы наибольшую полноту вхождения в мир, которые, впрочем, достойны и любви и пристального внимания со стороны любого доброго человека... Почему так принято доверять ничему по-настоящему равнодушному, будто за ним ничего, кроме смерти?.. Ведь всем же ясно, что мы шумим друг для друга и лишь в последнюю очередь для себя. Значит, в каждом отдельном человеке так мало собственной жизни, если он стремится объединить ее со всей остальной, может быть, для него чужой и непригодной?

— Хотя я писал этот рассказ лет восемь назад, настроение сейчас такое же. Все равно никто не поможет — значит, остается окончательно определить, что в тебе самое существенное, и жить, опираясь на это. "На костыли, встающие под сердцем". А работа есть работа.